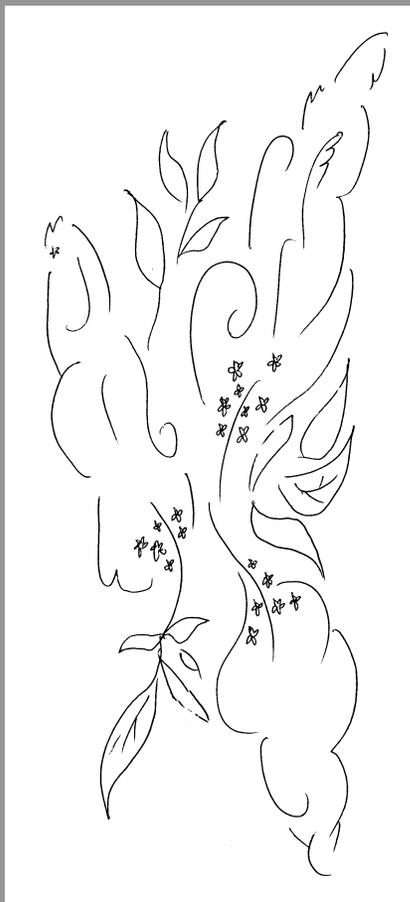


Борис Вайнер

Время сирени

190



*Продолжение повести «У дороги чибис»
(«КА» № 8 за 2012 год).*

Она была повсюду. За изгородями белёных бугульминских домиков около детского сада; в обнесённом высоким забором больничном городке, где служила доктором моя мама и куда я в обед время от времени забегал; под самым окном у одноклассницы; в заросшем казанском парке; в дворовой песне про сиреневый платочек и в старом романсе о брошенной из окна поезда цветущей ветке. Девочки наши по сирени гадали – особо приглядываясь не к лиловой, а к белой: пять лепестков вместо четырёх (а всем было известно, что это к счастью) там встречались чаще. Такой цветок – чтобы счастье стало твоим навсегда – следовало съесть или хотя бы положить между страницами книжки. Но если тебе вдруг попадутся всего три лепестка, беды точно не избежать.

Несколько лет после переезда мы жили в центре Казани, на улице Островского, в старом доме из красного кирпича в самом её начале. Квартира, когда-то целиком принадлежавшая моему деду, но пережившая в двадцатые уплотнение (как же! две комнаты и кухня!) была коммунальная; впрочем, с соседями мы ладили. В доме имелся полуподвальный этаж, пропитанный собственными любому подполью запахами, а во дворе, куда выходили наши окна, – сарайный ряд, о стенку которого я регулярно отрабатывал удары «подъёмом» и «щёчкой», и выход на протоку Булак.

Устав то ли после уроков, то ли после сбора макулатуры, я вопреки обыкновению задремал днём, под включён-

ный телевизор, где Хрущёв встречался с Полом Робсоном.

Это был документальный фильм «Наш Никита Сергеевич». Я полуспал-полубодрствовал, то ли во сне, то ли наяву взирая на Никиту Сергеевича с метростроевцами, с туркменскими конниками, с пленными немцами, с Мао Цзе-Дуном, с моряками, с колхозниками, с молотком, с шахтёрской лампочкой... И только проснувшись окончательно, с облегчением не обнаружил Никиты Сергеевича на экране.

Мне было тринадцать, и политики для меня не существовало. На отношение к Полу Робсону и его «Шестнадцати тоннам» Никита Сергеевич повлиять не мог. Но какое же это было скучное, бесконечное, хотя и всего лишь часовое, кино...

В пятиэтажке на улице Газовой, куда мы переселились затем, по соседству с нами обитали юные музыканты. Звуко-непроницаемостью стены «хрущёвки» не отличались, и соседские фортепианные экзерсисы были отчётливо слышны в любое время дня и ночи. Не могу сказать чтобы эта музыка меня особенно радовала, но однажды для школьного вечера я начитал на домашний магнитофон лирическое, из Роберта Рождественского: «Снятся усталым спортсменам рекорды // Снятся суровым поэтам слова // Снятся влюблённым в огромном городе // Необитаемые острова...»

– Ух ты! – сказали мне в школе. – Где ты такой классный фон записал?

Родители мои были люди в городе довольно известные – отец как адвокат, специализировавшийся в последние годы по транспортным делам, а мать – как опытный женский врач. Мама была твёрдого характера, папа скорее мягкого, и оба они были склонны к юмору как способу сиюминутного выхода из затруднительных житейских ситуаций.

...Однажды отца вместе с сослуживцем послали в Москву, в главк, – получать переходящее знамя, завоёванное трудовым коллективом автоуправления, где папа заведовал юридическим отде-

лом. Хозяин кабинета был не в настроении и с порога напустился на посланцев – за то, что они приехали вдвоём:

– У вас там что – деньги девать некуда?!

– А вы представьте, Иван Иванович, – без тени улыбки сказал в ответ отец. – Вот прибыл я один, получил знамя. Приехал на вокзал. Захотел в туалет. Что же мне – под красным знаменем туда идти!?

Начальник главка был типичный советский чиновник; видимо, он представил себе эту картину маслом, потому что тут же смягчил тон.

...Молодая жена моего товарища была до смерти напугана женщиной-врачом, заявившей, что их ребёнок может родиться мёртвым. Доктор была из числа учениц известного в Казани медика, важную роль в теориях которого о происхождении болезней детей – вплоть до проблем с головой – играла натальная, то есть родовая, травма. Предпосылки к такой травме докторесса в данном случае и обнаружила.

Мама приняла пациентку и, отпуская успокоенную домой, на прощанье отчеканила: «А доктору вашему передайте, что у неё самой была натальная травма».

Спустя несколько месяцев на свет благополучно появилась здоровая девочка.

...Я никогда не замечал, какой рукой мама пишет, и только будучи старшеклассником обратил на это внимание.

– А ты почему левой рукой пишешь? – спросил я простодушно.

Лицо у мамы было виноватое, будто её застали за чем-то предосудительным.

– Так удобнее...

Левой у нас пытались переучивать. Что, конечно, не являлось ноу-хау советской системы воспитания, но совершенно соответствовало тогдашнему доминантному принципу: «Выделяться не должен никто».

...О войне отец почти не вспоминал. Но один из его редких рассказов моя память всё же сохранила.

– Тогда многие ещё не призванные просились на фронт. Но не всех отпустили, в тылу специалисты тоже были нужны. И тут у нас ЧП случилось: у одного лейтенанта пистолет пропал. Разбирались-разбирались, искали-искали – не нашли. Парня наказали, отправили на фронт. А через некоторое время приходит от него в часть письмо: так и так, ничего я не терял, просто для меня это был единственный способ попасть сюда. А оружие спрятано там-то... Проверили – точно, пистолет на месте. В тряпице промасленной.

– Хотел бы я знать, – добавил тогда папа, – как у лейтенанта этого судьба сложилась...

Первым человеком, предсказавшим мне литературное будущее, был учитель располагавшейся в Телеграфном переулке (нынешней улице Гафиатуллина) школы № 6 Феодосий Константинович Новиков – в 60-е годы прошлого – страшно сказать – века фигура в Казани легендарная. Моё знакомство с ним было очень короткое; однажды, заменяя по случаю в восьмом классе нашу словесницу, он зачитал на уроке вслух кусочек из моего юмористического сочинения на вольную тему. И, обратив взгляд на автора, с одобрительным смешком сказал:

– Ну что ж... Может быть, это станет твоей профессией.

Из-за частых переездов семьи мне за время учёбы пришлось сменить четыре школы – две в Бугульме и две в Казани. Когда после восьмого класса мы перебрались с Островского на Газовую, я перешёл из школы № 6 в славившуюся тогда физико-математическую № 131, то бишь из Телеграфного переулка на Бутлерова. При этом ни к физике, ни к математике меня совершенно не тянуло. Впрочем, наш 9-й «З» (в 131-й, кстати, имелись даже классы «М» и «Н») именовался не «математическим», не «радиомонтажным», не «электромонтажным», а «химическим». Но общешкольную известность нам с моим другом принесла вовсе не химия, а сочинения, то есть литература.

К Марку Зарецкому в студию при музее Горького, куда меня привели позже мои тогдашние соседи по дому, поэты Слава Баширов и Эля Блинова, я пришёл уже в значительной степени сложившимся литератором. Конечно, я что-то узнавал, чему-то учился – будучи и обласкан, и бит – на немногих профессиональных семинарах, куда мне довелось попасть.

Но существует только один человек, без которого я скорее всего вообще бы не стал на эту стезю. Мне было четырнадцать, Жене пятнадцать, он был гораздо вдумчивее и глубже меня, и мы сидели за одной партой. Каждый день, покинув школу, мы, прежде чем пойти по домам, едва ли не часами стояли на углу Бутлерова и Толстого, у памятника хирургу Вишневскому, и разговаривали. Мой друг стал для меня тем, что когда-то называли «учитель-развиватель»: я постепенно, перенимая его отношение к предметам наших бесед, обретал привычку вдумываться в тему.

В числе прочего он приохотил меня к французским импрессионистам и их последователям. С тех пор неперменной целью моих поездок в Москву и Ленинград был какой-нибудь страшно дорогой по тем временам альбом Моне или Гогена. А Ренуар и по сей день остаётся моим любимым художником. Это было моё – цветное, праздничное, воздушное и в то же время почти осязаемое плотское; таким я и видел мир – как улицу Утрилло или ван-гоговский куст сирени.

Сирень была в строчках Цветаевой и Северянина, в красках Кончаловского и Левитана, которые действительно писали о ней и рисовали её; но сирень была и там, где о ней не упоминали, и там, где её вовсе не было; просто один из синонимов юной радости – от ещё не состоявшегося свидания, от удачного дня в школе, от клуба весёлых и находчивых по телевизору, от новой марки в клястере, от получившегося вдруг эталонного кистевого удара за теннисным столом – от пустячных для взрослого сознания вещей и событий; предчувствие

счастья, пока не имеющего имени там, в космосе будущей жизни.

Цветных телевизоров мы в глаза не видели. Тем не менее упомянутый выше телеприёмник иногда был «цветной». Владелец накладывал на экран трёхцветную целлулоидную плёнку: внизу коричневое, вверху голубое, а между ними зелёное; наглядное воплощение тезиса «голь на выдумки хитра». Новости или фильмы смотрелись странно, но футбольные матчи были самое то.

Помимо всеобщих тогдашних поэтических кумиров, то есть Рождественского, Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, у каждого из нас были и свои собственные – часто менее известные, но от этого не менее любимые. Однажды, раскрыв очередной выпуск ежегодника «День поэзии», я обнаружил там восхитившие меня строчки юной ленинградки Галины Гампер: «С охапкой осени в руках // Приеду первой электричкой // Где люди, как цветные спички // Стоят в зелёных коробках». Можно сказать, что я мгновенно полюбил эту неизвестную мне девушку – за её именно девичью, нежную, наивную интонацию. Позже я узнал, что она больна и передвигается в коляске, ещё позже написал романс на её стихи – увы, грустные: «Пусть вечеров ноябрьских смута // В моём поселится окне // Пусть достаётся хоть кому-то // Всё не доставшееся мне...»

Состояние влюблённости было непреходящим. Девочка из соседнего отряда в лагере Ильинка, где летом иногда работала моя мама, из параллельного класса, из группы в ленинградском санатории, случайная попутчица в автобусе или электричке... И совершенно вне зависимости от того, «светило» ли мне что-нибудь от новой встречи. Я тогда был безнадежно, до идиотизма романтичен и уже знал толк в том, что называется «сладкая грусть расставания»; мимолётная нежность, испытанная к незнакомке, была ценна сама по себе. А ничто не располагает к таким вещам более чем дорога; написанный поз-

же текст песни возник, скорее всего, из воспоминаний о поезде, ожидавшем в ясный и ветреный июньский день зелёного светофора где-нибудь на станции Арзамас: «И не избежать // Негаданных встреч // Нежданных минут // Нечаянный взгляд // Случайная речь // Вдруг сердце кольнут // И воздух иной // И шёпот хмельной // Чужих тополей // И та, что судьбой // И та, что судьбой // Не станет твоей...»

Я всегда инстинктивно и с некоторой оторопью отшатывался от тех моих сверстников, для кого отношения с девушками сводились к чистой физиологии. А с другой стороны, не доверял людям, книгам, фильмам, песням, всё плотское тщательно обходившим. Романс «Лимонная долька» появился, когда я задумался об этом уже будучи взрослым. Именно романс – на контрапункте, поскольку романсовые тексты по большей части стерильны.

**Занавесив окно,
Ибо было оно
Нам тогда совершенно некстати,
Мы сходили с ума,
Предаяясь весьма
Неказистому с виду занятию.
Не планида, не рок,
Не сплетенье дорог –
Притяженье, влеченье, и только,
Мимолётная власть,
Простодушная сласть –
Мармеладка, лимонная долька.**

Дачная местность, деревянные домики многочисленных баз отдыха по пологим берегам волжских заливов и заливчиков – вот откуда эта песня. От усыпанных сухой хвоей и шишками тропок, от плеска реки под вёслами, цоканья теннисного шарика по соседству, от полдневного жара, влажного дыхания ночи и утренней зябкости, от мошки под фонарями, от костров, песен вполголоса и разговоров шёпотом...

**Голубела звезда,
Шелестела вода,
Незнакомая птица свистела,
И, часы торопя,
Мы с тобою себя
Не делили на душу и тело.
Но делился сюжет
На вопрос и ответ,**

На закат и рассвет над заливом
Телефонным звонком,
Теплоходным гудком,
Неумолчным и неумолимым.

194

Встречи были коротки и завершались расставанием – очевидным с самого начала, но кто же в такие минуты загадывает наперёд? И шелестели страницами объятий и поцелуев мимолётные романы, драгоценные здесь и сейчас, как крохотные розовые с сиреневым отливом сердолики на черноморских пляжах, и невзрачные там и потом, потому что они были совершенно неотделимы от морского ли, речного ли берегов и просвеченных ожиданием любви летних закатов. И всё заканчивалось вместе с этим летом, и подступало иное время.

Поднималась волна,
Надвигалась война,
И коса находила на камень,
И бежали века,
И летели снега,
И вставала тайга между нами.
И с тобой от добра
Мы искали добра,
Что ни вечер перчатки меняя:
Что такая судьба,
Что саякая труба,
Что одна недолга, что другая...

Иное время, иной берег, судьбы разделялись, и пока запас твоей жизни – лежащее впереди пространство – был достаточным для иллюзий, казалось, что одна дорога равна другой и что не всё ли равно, с кем идти, потому что в любой момент можно сменить направление и попутчика, – легко! «сел и поехал», как поёт Кортнев. Но молодое время, а с ним энергия заблуждения истекали, и за очередным поворотом этой реки менялся взгляд назад, и оставленное, упущенное и невозвратимое подступало всё ближе и выглядело иначе.

Ах, когда бы я знал,
Ах, когда бы гадал
Сквозь туманы и годы, и страны,
Что на этом балу,
На паркетном полу,
Много званых – но мало желанных;
Остальное не в счёт,
Остальное – расчёт,
Бухгалтерия, бизнес, и только...
Только шёпот впотьмах,

Только вкус на губах –
Мармеладка, лимонная долька.

Неуловимо менялись лица, по-иному звучали сказанные кому-то слова, неведь откуда возникали не замеченные когда-то детали – всё обретало новый смысл, и прежний вкус с трудом вспоминался сегодняшними губами, и приходило понимание, что ты никуда не денешь свой опыт и в полной мере возобновить то, что с тобой уже было, не сумеешь. Всё, что ты можешь, – попытаться это вербализовать, то есть создать эхо отзвучавшей мелодии.

Именно тогда я обнаружил в одной из книг братьев Стругацких определение счастья – определение, с которым сразу же восторженно согласился. Это была цитата из неизвестного мне английского поэта Кристофера Лога: «Вы знать хотите // Что считаю // Я наивысшим счастьем на земле? // Две вещи // Менять вот так же состоянье духа // Как пенни выменял бы я на шиллинг // И юной девушки услышать пенье // Вне моего пути, но вслед за тем // Как у меня дорогу разузнала».

И именно тогда я увидел сон, значение которого понял только годы спустя. Он повторялся множество раз, и я бы не смог его забыть даже если б захотел. Там я летал, но не так, как летали в снах другие и порой я сам – над крышами, озёрами и рощами, усилием удерживая высоту. Нет, это было иное. Огромная дачная поляна, поздний летний вечер, в маленьких деревянных домиках горят окна, а между домами, перепархивая от одного к другому, иногда заглядывая внутрь, медленно, опираясь на плотный воздух, летает большая летучая мышь. Она спокойна и самодостаточна, она не враждебна людям в домах, она испытывает некоторое любопытство и даже приязнь к непохожим на неё соседям, но она из смежного мира и полагает, что так и должно оставаться... С возрастом я понял, что это предсказание, предощущение одиночества как судьбы; оно вполне оправдалось, я никогда не принадлежал к коллективистам – напротив, был и остался выраженным одиночкой,

сближающимся с кем-то только по конкретному поводу, а затем опять уходящим «гулять сам по себе».

Однажды, в выпускном классе, мы написали вдвоём рецензию. Не на что-нибудь – на «Фантомаса». Того самого, с Жаном Марэ и Луи де Фюнесом. Надо сказать, что Казань встречала эту невинную кинопародию почти торжественно – как явление в глубинку, к советскому зрителю, по большей части недоступного ему западного кино. То есть слухами и исковерканными в очередях металлическими ограждениями, только пройдя которые и можно было добраться до кассы кинотеатра. Текста рецензии я, к сожалению, не помню, но была она ехидная, и насмешка касалась не столько фильма, сколько публики. Разумеется, «Комсомолец Татарии», куда мы принесли этот неформат, ничего не опубликовал.

Наши сочинения иногда оказывались в некотором роде скандальными. Но вовсе не потому, что мы к этому стремились. Мы просто пытались писать искренне, а спускаемые в школы сверху темы были формальные. Чувствуя спекуляцию на высоком материале (например, на теме патриотизма), побуждение нас к созданию словесных потёмкинских деревень, мы вылезали из этой показухи как могли – а могли мы за счёт пародии или, как сказали бы сейчас, «стёба». И неважно, была назначенная тема серьёзной или это было «Как я провёл лето». В те годы в СССР все смотрели «Развод итальянски», где дама, желая побудить мужа к более активному исполнению супружеского долга, то и дело спрашивала: «Фэфэ, ты меня любишь? А как, как ты меня любишь?». Именно эту фразу появилась в качестве эпиграфа в одном из наших «заказных» сочинений. А в другом случае аналогичное задание было решено как комическая биография майора Пронина – героя почти забытых сегодня, а в шестидесятые породивших множество анекдотов книг Льва Овалова.

Основной составляющей экзамена по английскому были топики. Топики следовало заучить наизусть и потом бегло пересказывать. Темы были типовые – «Москоу из зэ кэпитал ов совет юнион», «Май таун», «Май фэмили», «Май скул» и т. д. Предложенный нам «Май фэйворит райтер» был о Джеке Лондоне. И тут моё наивное «я» запротестовало. Потому что май фэйворит райтер в то время был Генрих Манн: я зачитывался «Головой», «Верноподанным» и особенно «Дыханием». Учитель, которому я это сообщил заранее, поднял брови, но всё же благодушно сказал: «Ну напишите о Манне». Я написал. На экзамене мне попался именно «Май фэйворит райтер». Экзаменатор (тот самый преподаватель) радостно хихикнул – «А-а! Хенрих Манн! Зер гут!» – и почти не слушая поставил «отлично».

Я с юношеских лет не выносил пафоса – этого выходного платья Лжи – и всегда старался в меру моих возможностей сбивать уровень любой патетики. Затыкал себе рот, но не мог удержаться от смеха, если в классе или на каком-нибудь школьном вечере кто-то на полном серьёзе читал асадовскую «Трусиху» или что-то ещё в этом же роде – и сюжет этот, и способ подачи уже тогда казались мне глупыми и фальшивыми до тошноты. Перед самым окончанием школы у нас была затеяна тематическая стенгазета «Алые паруса», и я тут же предложил для неё раздел юмора под названием «Аленький парусёнок». При этом, разумеется, не переставая нежно любить романтическую прозу Александра Грина.

(Окончание следует.)